

# Владимир Набоков

## Истребление тиранов

### 1

Росту его власти, славы соответствовал в моем воображении рост меры наказания, которую я желал бы к нему применить. Так, сначала я удовольствовался бы его поражением на выборах, охлаждением к нему толпы, затем мне уже нужно было его заключения в тюрьму, еще позже — изгнания на далекий плоский остров с единственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно низводящей в ад одиночества, позора, бессилия; теперь, наконец, только его смерть могла бы меня утолить.

Как статистики наглядно показывают его восхождение, изображая число его приверженцев в виде постепенно увеличивающейся фигурки, фигуры, фигурищи, моя ненависть к нему, так же как он скрестив руки, грозно раздувалась посреди поля моей души, покуда не заполнила ее почти всю, оставив мне лишь тонкий светящийся обод (напоминающий больше корону безумия, чем венчик мученичества); но я предвижу и полное свое затмение.

Первые его портреты, в газетах, в витринах лавок, на плакатах (тоже растущих в нашей богатой осадками, плачущей и кровоточащей стране), выходили на первых порах как бы расплывчатыми, — это было тогда, когда я еще сомневался в смертельном исходе моей ненависти: что-то еще человеческое, а именно возможность неудачи, срыва, болезни, мало ли чего, в то время слабо дрожало сквозь иные его снимки, в разнообразности неустоявшихся еще поз, в зыбкости глаз, еще не нашедших исторического выражения, но исподволь его облик уплотнился, его скулы и щеки на официальных фотоэтюдах покрылись божественным лоском, оливковым маслом народной любви, лаком законченного произведения, — и уже нельзя было представить себе, что этот нос можно высморкать, что под эту губу можно залезть пальцем, чтобы выковырнуть застречку пищи из-за гнилого резца. За пробным разнообразием последовало канонизированное единство, утвердился, теперь знакомый всем, каменно-тусклый взгляд его неумных и незлых, но чем-то нестерпимо жутких глаз, прочная мясистость отяжелевшего подбородка, бронза маслаков, и уже ставшая для всех карикатуристов мира привычной чертой, почти машинально производящей фокус сходства, толстая морщина через весь лоб, — жировое отложение мысли, а не шрам мысли, конечно. Вынужден думать, что его натирали множеством патентованных бальзамов, иначе мне непонятна металлическая добротность лица, которое я когда-то знал болезненно-одутловатым, плохо выбритым, так что слышался шорох волосков о грязный крахмальный воротничок, когда он поворачивал голову. И очки, — куда делись очки, которые он носил юношей?

### 2

Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседания. Социологические задачи никогда не занимали меня, и я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре или даже просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим с политически взволнованными, напряженно серьезными людьми методы борьбы в свете последних событий. До блага человечества мне дела нет, и я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, должно ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны. Я знаю кроме того, что моей родине, ныне

им поработанной, предстоит в дальнем будущем множество других потрясений, не зависящих от каких-либо действий сегодняшнего правителя. И все-таки: убить его.

### 3

Когда боги, бывало, принимали земной образ и, в лиловатых одеждах, скромно и сильно ступая мускулистыми ногами в незапыленных еще плесницах, появлялись среди полевых работников или горных пастухов, их божественность нисколько не была этим умалена; напротив — в очаровании человечности, обвевающей их, было выразительнейшее обновление их неземной сущности. Но когда ограниченный, грубый, малообразованный человек, на первый взгляд третьеразрядный фанатик, а в действительности самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным гонором — когда такой человек наряжается богом, то хочется перед богами извиниться. Напрасно меня бы стали уверять, что сам он вроде как ни при чем, что его возвысило и теперь держит на железобетонном престоле неумолимое развитие темных, зоологических, зоорландских идей, которыми прельстилась моя родина. Идея подбирает только топориче, человек волен топор доделать — и применить.

Впрочем, повторяю: я плохо разбираюсь в том, что государству полезно, что вредно, и почему случается, что кровь с него сходит, как с гуся вода. Среди всех и всего меня занимает одна только личность. Это мой недуг, мое наваждение, и вместе с тем нечто как бы мне принадлежащее, мне одному отданное на суд. С ранних лет, а я уже не молод, зло в людях мне казалось особенно омерзительным, удушливо-невыносимым, требующим немедленного осмеяния и истребления, — между тем как добро в людях я едва замечал, настолько оно мне всегда представлялось состоянием нормальным, необходимым, чем-то данным и неотъемлемым, как, скажем, существование живого подразумевает способность дышать. С годами у меня развился тончайший нюх на дурное, но к добру я уже начал относиться несколько иначе, поняв, что обыкновенность его, обуславливавшая мое к нему невнимание, — обыкновенность такая необыкновенная, что вовсе не сказано, что найду его всегда под рукой, буде понадобится. Я прожил поэтому трудную, одинокую жизнь, в нужде, в меблированных комнатах, — однако, всегда у меня было рассеянное ощущение, что дом мой за углом, ждет меня, и что я войду в него, как только разделаюсь с тысячей мнимых дел, заполнявших мою жизнь. Боже мой, как я ненавидел тупость, квадратность, как бывал я несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смешное, вроде скарденности или почтения к богатеньким. И вот теперь передо мной не просто слабый раствор зла, какой можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный.

### 4

Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики с непременным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин — и все, что сюда воображение машинально относит: забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног... вот нынешний образ моей страны, — образ предельного уныния, но уныние у нас в почете, и однажды *им* брошенный (в свальную яму глупости) лозунг «половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована» повторяется дураками, как нечто, выражающее вершину человеческого счастья. Добро еще, если бы он нас питал той жалкой истиной, которую некогда вычитал у каких-то площадных софистов; он питает нас шелухой этой истины, и образ мышления, который требуется от нас, построен не просто на лжемудрости, а на обломках и обмолвках ее. Но для меня и не в этом суть, ибо

разумеется, будь идея, у которой мы в рабстве, вдохновеннейшей, восхитительнейшей, освежительно мокрой и насквозь солнечной, рабство оставалось бы рабством, поскольку нам навязывали бы ее. Нет, главное то, что по мере роста его власти я стал замечать, что гражданские обязательства, наставления, стеснения, приказы и все другие виды давления, производимые на нас, становятся все более и более похожими на него самого, являя несомненное родство с определенными чертами его характера, с подробностями его прошлого, так что по ним, по этим наставлениям и приказам, можно было бы восстановить его личность, как спрута по щупальцам, ту личность его, которую я один из немногих хорошо знал. Другими словами, все кругом принимало его облик, закон начинал до смешного смахивать на его походку и жесты; в зеленных появились в необыкновенном изобилии огурцы, которыми он так жадно кормился в юности; в школах введено преподавание цыганской борьбы, которой он в редкие минуты холодной резвости занимался на полу с моим братом двадцать пять лет тому назад; в газетных статьях и в книгах подобострастных беллетристов появилась та отрывистость речи, та мнимая лапидарность (бессмысленная по существу, ибо каждая короткая и будто бы чеканная фраза повторяет на разные лады один и тот же казенный трюизм или плоское от избитости общее место), та сила слов при слабости мысли и все те прочие ужимки стиля, которые ему свойственны. Я скоро почувствовал, что он, он, таким как я его помнил, проникает всюду, заражая собой образ мышления и быт каждого человека, так что его бездарность, его скука, его серые навыки становились самой жизнью моей страны. И наконец, закон, им поставленный, — неумолимая власть большинства, ежесекундные жертвы идолу большинства, — утратил всякий социологический смысл, ибо большинство это он.

## 5

Он был одним из товарищей моего брата Григория, который лихорадочно и поэтично увлекался крайними видами гражданственности (давно пугавшими нашу тогдашнюю смиренную конституцию) в последние годы своей короткой жизни: утонул двадцати трех лет, купаясь летним вечером в большой, очень большой реке, так что теперь, когда вспоминаю брата, первое, что является мне, это — блестящая поверхность воды, ольхой поросший островок, до которого он никогда не доплыл, но вечно плывет сквозь дрожащий пар моей памяти, и длинная черная туча, пересекающая другую, пышно взбитую, оранжевую — все, что осталось от субботней грозы в предвоскресном, чисто-бирюзовом небе, где сейчас просквозит звезда, где звезды никогда не будет. О ту пору я слишком был поглощен живописью и диссертацией о ее пещерном происхождении, чтобы внимательно соприкоснуться с кружком молодых людей, завлекшим моего брата; мне, впрочем, помнится, что определенного кружка и не было, а что просто набралось несколько юношей, во многом различных, временно и некрепко связанных между собой тягой к бунтарским приключениям; но настоящее всегда оказывает столь порочное влияние на вспоминаемое, что теперь я невольно выделяю *его* на этом смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не самого громкого из товарищей Григория той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей волей, которая из бездарного человека лепит в конце концов торжествующее чудовище.

Я его помню ожидающим моего брата в темной столовой нашего бедного провинциального дома: он присел на первый попавшийся стул и немедленно принялся читать мятую газету, извлеченную из кармана черного пиджака, и лицо его, наполовину скрытое стеклянным забралом дымчатых очков, приняло безразлично плачущее выражение, словно ему попался пасквиль. Помню, его городские, неряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными, как если бы он только что прошел пешком много верст по тракту, между незамеченных нив. Коротко стриженные волосы щетинистым мыском находили на лоб, — еще не предвиделась, значит, его сегодняшняя кесарская плешивость. Ногти больших влажных рук были так искусаны, что больно было за перетянутые подушечки на кончиках

отвратительных пальцев. От него пахло козлом. Он был нищ и неразборчив в ночлегах.

Когда брат мой является (а Григорий в моих воспоминаниях всегда опаздывает, всегда входит впопыхах, точно страшно торопясь жить и все равно не поспевая, — и вот жизнь, наконец, ушла без него), он без улыбки с Григорием здоровается, резко встав и со странной оттяжкой подавая руку; казалось, что если вовремя не схватить ее, она с пружинным звуком уйдет обратно в пристяжную манжету. Ежели входил кто-нибудь из нашей семьи, он ограничивался хмурым поклоном, — но зато демонстративно подавал руку кухарке, которая, взятая врасплох и не успев обтереть ладонь до пожатия, обтирала ее после, как бы вдогонку. Моя мать умерла незадолго до его появления у нас в доме, отец же относился к нему с той же рассеянностью, с которой относился ко всем и ко всему, к нам, к невзгодам жизни, к присутствию грязных собак, которых пригревал Гриша, и даже кажется к своим пациентам. Зато две старые мои тетки откровенно побаивались «чудака» (вот уж никаким чудачком он не был), как, впрочем, побаивались они и остальных Гришиных товарищей.

Теперь, через двадцать пять лет, мне часто приходится слышать его голос, его звериный рык, разносимый громами радио, но тогда, помнится, он всегда говорил тихо, даже с какой-то хрипотцой или пришептыванием, — вот только это знаменитое гнусное задыханье его в конце фраз уже было, было... Когда, опустив голову и руки, он стоял перед моим братом, который его приветствовал ласковым окриком, все еще стараясь поймать хотя бы его локоть, хотя бы костлявое плечо, он казался странно коротконогим, вероятно, вследствие длины пиджака, доходившего ему до половины бедер, — и нельзя было разобрать, чем определена подавленность его позы, угрюмой ли застенчивостью или напряжением сознания перед сообщением какой-то тяжелой, дурной вести. Мне показалось впоследствии, что он, наконец, сообщил ее, с нею покончил, когда в ужасный летний вечер пришел с реки, держа в охапке белье и парусиновые штаны Григория, но теперь мне думается, что весть, которой он всегда был полон, все-таки была не та, а глухая весть о собственном чудовищном будущем.

Иногда через полуоткрытую дверь я слышал его болезненно отрывистый разговор с братом; или же он сидел за чайным столом, ломая баранку, отворачивая ночные свиные глаза от света керосиновой лампы. У него была странная и неприятная манера полоскать рот молоком прежде чем его проглотить, и баранку он кусал осторожно кривя рот, — зубы были плохие, и случалось, обманывая кратким охлаждением огненную боль открытого нерва, он втягивал поминутно воздух с боковым свистом, а также помню, как мой отец смачивал для него ватку коричневыми каплями с опиумом и, беспредметно посмеиваясь, советовал обратиться к дантисту. «Целое сильнее части, — отвечал он, грубо конфузясь, — эрго я свое зубье поборю»; но я теперь не знаю, сам ли я слышал от него эти деревянные слова, или их потом передавали, как изречение оригинала... да только, как я уже сказал, он отнюдь оригиналом не был, ибо не может же животная вера в свою мутную звезду почитаться своеобразием; но вот подите же — он поражал бездарностью, как другие поражают талантом.

## 6

Иногда его природная унылость сменялась судорогами какого-то дурного, зазубристого веселья, и тогда я слышал его смех, такой же режущий и неожиданный, как вопль кошки, к бархатной тишине которой так привыкаешь, что ее ночной голос кажется чем-то безумным, бесовским. Так крича, он вовлекался товарищами в игры, в возню, и выяснялось, что руки у него слабые, а зато ноги — железные. И однажды один из юношей позабавнее положил ему жабу в карман, и он, не смея залезть туда пальцами, стал сдирать отяжелевший пиджак и в таком виде, буро-красный, растерзанный, в манишке поверх рваной нательной фуфайки, был застигнут злой горбатенькой барышней, тяжелая коса и чернильно-синие глаза которой многим так нравились, что ей охотно прощалось сходство с черным шахматным коньком.

Я знаю о его любовных склонностях и системе ухаживания от нее же самой, ныне, к

сожалению, покойной, как большинство людей, близко знавших его в молодости, словно смерть ему союзница и уводит с его пути опасных свидетелей его прошлого. К этой бойкой горбунье он писал либо нравоучительно, с популярно-научными экскурсиями в историю (о которой знал из брошюр), либо темно и жидко жаловался на другую, мне оставшуюся неизвестной, женщину (тоже, кажется, с каким-то физическим недостатком), с которой одно время делил кров и кровать в мрачайшей части города... много я дал бы теперь, чтобы разыскать, расспросить эту неизвестную, но верно и она безопасно мертва. Любопытной чертой его посланий была их пакостная тягучесть, он намекал на козни таинственных врагов, длинно полемизировал с каким-то поэтом, стишки которого вычитал в календаре... о, если бы можно было воскресить эти драгоценные клетчатые страницы, исписанные его мелким, близоруким почерком! Увы, я не помню из них ни одного выражения (не очень это меня интересовало тогда, хотя я слушал и смеялся) и только смутно-смутно вижу в глубине памяти бант на косе, худую ключицу, быструю, смуглую руку в гранатовой браслетке, мнущую письмо, и еще улавливаю воркующий звук женского предательского смеха.

## 7

Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить по собственному усмотрению — разница глубокая, роковая; однако, ни брат мой, ни его друзья не чувствовали, по-видимому, особого различия между своим бесплотным мятежом и *его* железной жаждой. Через месяц после смерти брата он исчез, перенеся свою деятельность в северные провинции (кружок зачах и распался, причем, насколько я знаю, ни один из его остальных участников в политики не вышел), и скоро дошел слух, что тамошняя работа, стремления и методы приняли оборот совершенно противный всему, что говорилось, думалось, чаялось в той первой юношеской среде. Вот, я вспоминаю его тогдашний облик, и мне удивительно, что никто не заметил длинной угловатой тени измены, которую он всюду за собой влачил, запрятывал концы под мебель, когда садился, и странно путая отражения лестничных перил на стене, когда его провожали с лампой. Или это наше черное сегодня отбрасывает туда свою тень? Не знаю, любили ли его, но во всяком случае брату и другим *импонировали* и мрачность его, которую принимали за густоту душевных сил, и жестокость мыслей, казавшаяся следствием перенесенных им таинственных бед, и вся его непрезентабельная оболочка, как бы подразумевавшая чистое, яркое ядро. Что таить, — мне самому однажды померещилось, что он способен на жалость, и только впоследствии я определил точный оттенок ее. Любители дешевых парадоксов давно отметили сентиментальность палачей, — и, действительно, панель перед мясными всегда мокрая.

## 8

В первые дни после гибели брата он все попадался мне на глаза и несколько раз у нас ночевал. Эта смерть не вызвала в нем никаких видимых признаков огорчения. Он держался так, как всегда, и это нисколько не коробило нас, ибо его всегдашнее состояние и так было траурным, и всегда он так сидел где-нибудь в углу, читая что-нибудь неинтересное, то есть всегда держался так, как в доме, где случилось большое несчастье, держатся люди, недостаточно близкие или недостаточно чужие. Теперь же его постоянное присутствие и мрачная тишина могли сойти за суровое соболезнование, соболезнование, видите ли, замкнутого, мужественного человека, который и незаметен и неотлучен (недвижимое имущество сострадания), и о котором узнаешь, что он сам был тяжело болен в то время, как проводил бессонную ночь на стуле, среди домочадцев, ослепших от слез. Но в данном случае все это был страшный обман: если и тянуло его к нам тогда, то это было только потому, что нигде он так естественно не дышал, как среди стихии уныния, отчаяния, — когда на столе стоит неубранная посуда, и некурящие просят папирос.

Я отчетливо помню, как я с ним вместе отправился на исполнение одной из тех мелких

формальностей, одного из тех мучительно мутных дел, которыми смерть (в которой есть всегда нечто от чиновничьей волокиты) старается подольше опутать оставшихся в живых. Кто-то должно быть сказал мне: «Вот *он* с тобой пойдет»; он и пошел, сдержанно прочищая горло. И вот тогда-то (мы шли пушистой от пыли незастроенной улицей, мимо заборов и наваленных досок) я сделал кое-что, воспоминание о чем во мне проходит от темени до пят электрической судорогой нестерпимого стыда: побуждаемый Бог весть каким чувством, — не столько может быть благодарностью за сострадание, сколько состраданием же к состраданию чужому, я в порыве нервности и неуместного пробуждения души, на ходу взял и сжал его руку, — и мы оба одновременно слегка оступились; все это длилось мгновение, — но, если б я тогда обнял его и припал губами к его страшной золотистой щетине, я бы не мог ныне испытывать большей муки. И вот, через двадцать пять лет я думаю: мы ведь шли вдвоем пустынными местами, и у меня был в кармане Гришин револьвер, который не помню по каким соображениям я все собирался спрятать; ведь я мог его уложить выстрелом в упор, и тогда не было бы ничего, ничего из того, что есть сейчас, ни праздников под проливным дождем, исполинских торжеств, на которых миллионы моих сограждан проходят в пешем строю, с лопатами, мотыгами и граблями на рабьих плечах, ни громковещателей, оглушительно размножающих один и тот же вездесущий голос, ни тайного траура в каждой второй семье, ни гаммы пыток, ни отупения, ни пятисаженных портретов, ничего... О, если б можно было когтями вцепиться в прошлое, за волосы втащить обратно в настоящее утраченный случай, снова воскресить ту пыльную улицу, пустыри, тяжесть в заднем кармане штанов, человека, шедшего со мной рядом!

## 9

Я вял и толст, как шекспировский Гамлет. Что я могу? От меня, скромного учителя рисования в провинциальной гимназии, до него, сидящего за множеством чугунных и дубовых дверей в неизвестной камере главной столичной тюрьмы, превращенной для него в замок (ибо этот тиран называет себя «пленником воли народа, избравшего его»), — расстояние почти невообразимое. Некто мне рассказывал, запершись со мной в погреб, про свою дальнюю родственницу старуху-вдову, которая вырастила двухпудовую репу и посему удостоилась высочайшего приема. Ее долго вели мраморными коридорами, без конца перед ней отпирая и за ней запирая опять очередь дверей, пока она не очутилась в белой, беспощадно-освещенной зале, вся обстановка которой состояла из двух золоченых стульев. Там ей было сказано ждать. Через некоторое время за дверью послышалось множество шагов и, с почтительными поклонами, пропуская друг друга, вошло человек пять его телохранителей. Испуганными глазами она искала его среди них; они же смотрели не на нее, а поверх ее головы, и обернувшись, она увидела, что сзади, через другую дверь, ею не замеченную, бесшумно вошел сам и, остановившись, положив руку на спинку стула, привычно поощрительно разглядывал государственную гостью. Затем он сел и предложил ей своими словами рассказать о ее подвиге (тут же был принесен служителем и положен на второй стул глиняный слепок с ее овоща), и она в продолжение десяти незабвенных минут рассказывала, как репу посадила, как тащила ее из земли и все не могла вытащить, хотя ей казалось, что призрак ее покойного мужа тащит вместе с ней, и как пришлось позвать сына, а потом внука да еще двух пожарных, отдыхавших на сеновале, и как, наконец, цугом пятясь, чудовище вытащили. Он был, видимо, поражен ее образным рассказом: «Вот это поэзия, — резко обратился он к своим приближенным, — вот бы у кого господам поэтам учиться», — и сердито велел слепок отлить из бронзы, вышел вон. Но я реп не рощу, так что проникнуть к нему мне невозможно, да и если бы проник, как бы я донес заветное оружие до его логова?

Иногда он является народу, — и хотя не подпускают к нему близко, и каждому приходится поднимать тяжелое древко выданного знамени, дабы были заняты руки, и за всеми наблюдает несметная стража (не говоря о соглядатаях и согляддающих соглядатаев), очень ловкому и решительному человеку могло бы посчастливиться найти лазейку, сквозную

секунду, какую-то мельчайшую долю судьбы, для того, чтобы ринуться вперед. Я перебрал в воображении все виды истребительных средств, от классического кинжала до плебейского динамита, но все это зря, и недаром я часто вижу во сне, как нажимаю раз за разом собачку мягкого, расплзающегося в руке пистолета, а пули одна за другой выпадают из ствола или как безвредный горох отскакивают от груди усмехающегося врага, который между тем, не торопясь, начинает меня сдавливать за ребра.

## 10

Вчера я пригласил к себе в гости несколько человек, друг с другом незнакомых, но связанных между собой одним и тем же священным делом, так преобразившим их, что можно было даже заметить неопределенное между ними сходство, какое встречается, скажем, между пожилыми масонами. Это были люди разных профессий — портной, массажист, врач, цирюльник, пекарь, — но у всех была одна и та же вздутость осанки, одна и та же бережность размеренных движений. Еще бы! Один шил для него платье и, значит, снимал мерку с его нежирного, а все же бокастого тела, со странными, женскими бедрами и круглой спиной; значит — трогал его, почтительно лез под мышки и вместе с ним смотрел в зеркало, увитое золотым плющом; второй и третий проникли еще дальше: видели его голым, мяли ему мышцы и слушали сердце, по ритму которого у нас, говорят, скоро будут поставлены часы, т. е. в самом буквальном смысле его пульс будет взят за единицу времени; четвертый его брил, с шорохом вода вниз по щекам и вверх по шее нестерпимо для меня соблазнительным лезвием; пятый, наконец, пек для него хлеб, — по привычке, по глупости кладя в его любимую булку изюм вместо яда. Мне хотелось дотронуться до этих людей, чтобы хоть как-нибудь сопричаститься их таинственных, их дьявольских манипуляций; мне сдавалось, что их руки пропахли им, что через них он тоже присутствует... Все было очень хорошо, очень чопорно. Мы говорили о вещах, к нему не относящихся, и я знал, что если имя его упомяну, у каждого из них в глазах промелькнет одна и та же жреческая тревога. И когда вдруг оказалось, что на мне костюм, сшитый моим соседом справа, и что ем я сдобный пирожок, запивая его особой водой, прописанной соседом слева, то мной овладело ужасное, чем-то во сне многозначительное чувство, от которого я сразу проснулся — в моей нищей комнате, с нищей луной в занавешенном окне.

Все же я признателен ночи и за такой сон: последнее время изнываю от бессонницы. Это так, словно меня заранее приучают к наиболее популярной из пыток, применяемых к нынешним преступникам. Я пишу «нынешним» потому, что с тех пор как он у власти, появилась как бы совершенно новая порода государственных преступников (других, уголовных, собственно и нет, так как мельчайшее воровство вырастает в казнокрадство, которое, в свою очередь, рассматривается как попытка подточить существующий строй), изысканно слабых, с прозрачайшей кожей и лучистыми глазами навывате. Это порода редкая и высоко ценящаяся, как живой окапи или мельчайший вид лемура, и потому охотятся на них страстно, самозабвенно, и каждый пойманный экземпляр встречается всенародным рукоплесканием, хотя в сущности никакого особого труда или опасности в охоте нет, — они совсем ручные эти странные прозрачные звери.

Пугливая молва утверждает, что он сам не прочь посетить застенки... но это едва ли так: министр почт не штемпелюет писем, а морской — не плещется в волнах. Мне вообще претит домашний сплетнический тон, которым говорят о нем его кроткие недоброжелатели, сбиваясь на особый вид простецкой шутки, как в старину народ придумывал сказки о черте, в балаганный смех наряжая суеверный страх. Пошлые, спешно приспособленные анекдоты (восходящие к каким-то древним ирландским образцам) или закулисный факт из достоверного источника (кто в фаворе и кто нет, например) всегда отдают лакейской. Но бывает и того хуже: когда мой знакомый N., у которого всего три года тому назад казнили родителей (не говоря о позорных гонениях, которым сам N. подвергся), замечает, вернувшись с государственного праздника, где слышал и видел его: «а все-таки, знаете, в

этом человеке есть какая-то **мощь** !» — мне хочется заехать N. В морду.

## 11

В своих «закатных» письмах великий иностранный художник говорит о том, что ко всему остыл, во всем разуверился, все разлюбил, все — кроме одного. Это одно — живой романтический трепет, до сих пор его охватывающий при мысли об убогости его молодых лет по сравнению с роскошной полнотой пройденной жизни, со снежным блеском ее вершины, достигнутой им. Та первоначальная безвестность, те потемки поэзии и печали, в которых молодой художник был затерян на равных правах с миллионом малых сих, его теперь притягивают, возбуждая в нем волнение и благодарность — судьбе, промыслу, а также собственной творческой воле. Посещение мест, где он бедствовал когда-то, встречи с ничем не замечательными стариками-сверстниками полны для него такого сложного очарования, что изучения всех подробностей этих чувств хватит ему и на будущий загробный досуг духа.

И вот, когда я представляю себе, что наш траурный правитель чувствует, соприкасаясь со **своим** прошлым, я ясно понимаю, во-первых, что настоящий человек — поэт, а, во-вторых, что он, наш правитель, воплощенное отрицание поэта. Между тем иностранные газеты, особенно те, что повечернее, знающие, как просто мираж превращается в тираж, любят отмечать легендарность его судьбы, вводя толпу читателей в громадный черный дом, где он родился, где до сих пор будто бы живут такие же бедняки, без конца развешивающие белье (бедняки очень много стирают), и тут же печатается Бог весть как добытая фотография его родительницы (отец неизвестен), коренастой женщины с челкой, с широким носом, служившей в пивной у заставы. Очевидцев его отрочества и юности осталось так мало, а те, которые есть, отвечают так осторожно (меня, увы, не спросил никто), что журналисту надобна большая сила выдумки, чтобы изобразить, как сегодняшний властитель мальчиком верховодствовал в воинственных играх или как юношей читал до петухов. Его демагогические успехи трактуются, как стихия судьбы, — и разумеется много уделяется внимания тому темному зимнему дню, когда, выбранный в парламент, он с шайкой своих приверженцев парламент арестовал (после чего армия, бляя, немедленно перешла на его сторону).

Легенда не ахти какая, но это все-таки легенда, в этом оттенке журналист не ошибся, легенда замкнутая и обособленная (то есть готовая зажить своей, островной, жизнью), и заменить ее настоящей правдой уже невозможно, хотя ее герой еще жив; невозможно, ибо он, единственный, кто правду бы мог знать, не годится в свидетели, и не потому, что он пристрастен или лжив, а потому, что он **непомнящий**. О, конечно, он помнит старых врагов, помнит две-три прочитанных книги, помнит, как в детстве кабатчик напоил его пивом с водкой, или как выдрал за то, что он упал с верха поленицы и задавил двух цыплят, то есть какая-то грубая механика памяти в нем все-таки работает, но если бы ему было богами предложено образовать себя из своих воспоминаний, с тем, что составленному образу будет даровано бессмертие, получился бы недоносок, муть, слепой и глухой карла, не способный ни на какое бессмертие.

Посети он дом, где жил в пору нищеты, никакой трепет не пробежал бы по его коже, ниже трепет злобного тщеславия. Зато я-то навестил его бывшее жилище! Не тот многокорпусный дом, где, говорят, он родился, и где теперь музей его имени (старые плакаты, черный от уличной грязи флаг и — на почетном месте, под стеклянным колпаком — пуговица: все, что удалось сберечь от его скупой юности), а те мерзкие номера, где он провел несколько месяцев во времена его близости к брату. Прежний хозяин давно умер, жильцов не записывали, так что никаких следов его тогдашнего пребывания не осталось. И мысль, что я один на свете (он-то ведь забыл эту свою стоянку, — их было так много) **знаю**, наполняла меня чувством особого удовлетворения, словно я, трогаящий эту мертвую мебель и глядящий на крышу в окно, держу в кулаке ключ от его жизни.



Сейчас у меня был еще гость: весьма потрепанный старик, который видимо находился в состоянии сильнейшего возбуждения, — обтянутые глянцевиной кожей руки дрожали, пресная старческая слеза увлажняла розовые отвороты век, бледная череда произвольных выражений от глуповатой улыбки до кривой морщины страдания бежала по его лицу. Моим пером он вывел на клочке бумаги цифру знаменательного года, с которого прошло почти столетие, и число, месяц — дату рождения правителя. Он поглядел на меня, приподняв перо, как бы не решаясь продолжать, или только оттеняя запинкой поразительное коленце, которое сейчас выкинет. Я ответил поощрительно нетерпеливым кивком, и тогда он написал другую дату, на девять месяцев раньше первой, подчеркнул двойной чертой, разомкнул было губы для торжествующего смеха, но вместо этого закрыл вдруг лицо руками... «К делу, к делу», — сказал я, теребя этого скверного актера за плечо, и быстро оправившись, он полез к себе в карман и протянул мне толстую твердую фотографию, приобретающую с годами тускло-молочный цвет. На ней был снят плотный молодой человек в солдатской форме; фуражка его лежала на стуле, на спинку которого он с деревянной непринужденностью опустил руку, и на заднем фоне можно было различить бутафорскую балюстраду, урну. При помощи двух-трех соединительных взглядов я убедился, что между чертами моего гостя и бестенным, плоским лицом солдата (украшенным усиками, а сверху сдавленным ежом, от которого лоб казался меньше) сходства немного, но что все-таки это несомненно один и тот же человек. На снимке ему было лет двадцать, снимку же было теперь под пятьдесят, и без труда можно было заполнить этот пробел времени банальной историей одной из тех третьесортных жизней, знаки которых читаешь (с мучительным чувством превосходства, иногда ложного) на лицах старых торговцев тряпьем, сторожей городских скверов, озлобленных инвалидов. Мне захотелось выспросить у него, каково ему жить с этой тайной, каково нести тяжесть чудовищного отцовства, видеть и слышать ежеминутное всенародное присутствие своего отпрыска... но тут я заметил, что сквозь его грудь просвечивает безвыходный узор обоев, — я протянул руку, чтобы гостя задержать, но он растаял, по-старчески дрожа от холода исчезновения.

И все же он существует, этот отец (или еще недавно существовал), и если только судьба не дала ему спасительного неведения относительно имени его минутной подружки, Господи, какая мука блуждает среди нас, не смеющая сказать — и может быть еще потому особенно острая, что у этого несчастнейшего человека нет полной уверенности в своем отцовстве, — ведь баба-то была гулящая, вследствие чего таких, как он, живет может быть на свете несколько, без устали высчитывающих сроки, мечущихся в аду избыточных цифр и недостаточного воспоминания, подлю мечтающих извлечь выгоду из тьмы прошлого, боящихся немедленной кары (за ошибку, за кощунство, за чересчур паскудную правду), в тайне тайн гордящихся (все-таки мощь!), сходящих с ума от своих выкладок и догадок... ужасно, ужасно...

Время идет, а я между тем увязаю в диких томных мечтах. Меня это даже удивляет: я знаю за собой немало поступков решительных и даже отважных, да и не боюсь несколько губительных для меня последствий покушения, — напротив, — вовсе не представляя себе его формы, я, однако, отчетливо вижу потасовку, которая последует тотчас за актом, — человеческий вихрь, хватаящий меня, полишинелевую отрывочность моих движений среди жадных рук, треск разорванной одежды, ослепительную краску ударов — и затем (коли выйду жив из этого вихря), железную хватку стражников, тюрьму, быстрый суд, застенки, плаху, — и все это под громовой шум моего могучего счастья. Я не надеюсь на то, что мои сограждане сразу почувствуют и свое освобождение, я даже допускаю усиление гнета по

инерции... Во мне ничего нет от гражданского героя, гибнущего за свой народ. Я гибну лишь за себя, за свое благо и истину, за то благо и за ту истину, которые сейчас искажены и попорчены во мне и вне меня, а если кому-нибудь они столь же дороги, как и мне, тем лучше; если же нет, и родине моей нужны люди другого склада, чем я, охотно мирюсь со своей ненужностью, а дело свое все-таки сделаю.

Жизнь слишком поглощена и окутана моей ненавистью, чтобы мне быть хоть сколько-нибудь приятной, а тошноты и черноты смертных мук я не боюсь, тем более, что чаю такую отраду, такую степень зачеловеческого бытия, которая не снится ни варварам, ни последователям старинных религий. Таким образом ум мой ясен, и рука свободна... а все-таки не знаю, не знаю, как его убить.

Уж я думал: не потому ли это так, что убийство, намерение убить, нестерпимо в сущности пошло, и воображение, перебирающее способы и род оружия, производит работу унижительную, фальшь которой тем более чувствуешь, чем праведнее сила, толкающая тебя. И еще: может быть я не мог бы его убить из гадливости, как иной человек, испытывающий лютое отвращение ко всему ползучему, не в состоянии раздавить червяка на борозде, оттого что это было бы для него так, как если бы он каблуком давил пыльные концы своих собственных внутренностей. Но какие бы объяснения я ни подыскивал своей нерешительности, было бы неразумно скрыть от себя, что я должен его истребить, и что я его истреблю, — о, Гамлет, о, лунный олух...

## 14

Нынче он сказал речь по поводу закладки новой, многоярусной теплицы и заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колосьев в ниве, причем для вящей поэзии произносил: клас, класы, и даже класиться, — не знаю, какой приторный школяр посоветовал ему применить этот сомнительный архаизм, зато теперь понимаю, почему последнее время в журнальных стихах попадались такие выражения как «осколки стекла», «речные праги» или «и мудро наши ветринары вылечивают млечных крав».

В течение двух часов гремел по нашему городу громадный голос, вырываясь в различных степенях силы из того или другого окна, так что, ежели идти по улице (что, впрочем, почитается опасной неучтивостью, — сиди и слушай), получается впечатление, что он тебя сопровождает, обрушивается с крыши, пробирается на карачках у тебя промеж ног и, снова взмыв, клюет в темя, — квохтание, каркание, крик, карикатура на человеческое слово, и некуда от голоса скрыться, и то же происходит сейчас в каждом городе, в каждом селенье моей благополучно оглушенной родины. Никто кроме меня, кажется, не заметил интересной черты его надрывного ораторства, а именно пауз, которые он делает между ударными фразами, совершенно как это делает вдрызг пьяный человек, стоящий в присутствии пьяным независимом, но неудовлетворенном одиночестве посреди улицы и произносящий обрывки бранного монолога с чрезвычайной увесистостью гнева, страсти, убеждения, но темного по смыслу и назначению, причем поминутно останавливается, чтобы набраться сил, обдумать следующий период, дать слушателям вникнуть, — и, паузу выдержав, дословно повторяет только что изверженное, таким тоном, однако, будто ему пришел на ум еще один довод, еще одна совершенно новая и неопровержимая мысль.

Когда, наконец, он иссяк, и безликие, бесщекие трубачи сыграли наш аграрный гимн, я не только не испытал облегчения, а напротив почувствовал тоску, страх, утрату; покамест он говорил, я по крайней мере караулил его, знал, где он, и что делает, а теперь он опять растворился в воздухе, которым дышу, но в котором уже нет осязаемого средоточия.

Я понимаю гладковолосых женщин наших горных племен, когда, будучи покинуты любовником, они ежеутренне упорным нажимом коричневых пальцев, булавкой с бирюзовой головкой прокалывают насквозь пупок глиняному истуканчику, изображающему беглеца. Последнее время я часто занимаюсь тем, что пытаюсь с помощью всех сил души вообразить течение его забот и мыслей, пытаюсь попасть в ритм его существования, дабы

оно поддалось и рухнуло, как висячий мост, колебания которого совпали бы со стройными шагами проходящего по нему отряда солдат. Отряд тоже погибнет, как погибну я, сойдя с ума в то мгновение, когда ритм уловлю, и он в своем дальнем замке падет за смертью, но и при всяком другом виде тираноубийства я бы не остался цел. Поутру проснувшись, этак в половине девятого, я силюсь представить себе его пробуждение — он встает не рано и не поздно, а в средний час, точно так же как чуть ли не официально именуется себя «средним человеком». В девять я, как и он, удовлетворяюсь стаканом молока и сладкой булочкой, и если в данный день у меня нет занятий в школе, продолжаю погоню за его мыслями. Он прочитывает несколько газет, и я прочитываю их вместе с ним, ища, что может остановить его внимание, хотя вместе с тем знаю, что ему уже накануне было известно общее содержание сегодняшней газеты, ее главные статьи, сводки и отчеты, так что никаких особенных поводов для государственного раздумья это чтение не может ему дать. Затем к нему приходят с докладами и вопросами его помощники. Вместе с ним я узнаю, как поживает железнодорожный транспорт, как потеется тяжелой промышленности, и сколько центнеров с гектара дала в этом году озимая пшеница. Разобрав несколько прошений о помиловании и начертав на них неизменный отказ, карандашный крест, — знак своей сердечной неграмотности — он до второго завтрака совершает обычную прогулку: как у многих ограниченных, лишенных воображения людей, ходьба любимое его физическое упражнение, а гуляет он по внутреннему саду замка, бывшему некогда большим тюремным двором. Знаю я и скромные блюда его трапезы и после нее отдыхаю вместе с ним, перебирая в уме планы дальнейшего процветания его власти или новые меры для пресечения крамолы. Днем мы осматриваем новое здание, форт, форум и другие формы государственного благосостояния, и я одобряю вместе с ним изобретателя новой форточки. Обед, обыкновенно парадный, с участием должностных лиц, я пропускаю, но зато к ночи сила моей мысли удваивается, я отдаю вместе с ним приказания газетным редакторам, слушаю отчет вечерних заседаний, и один в своей темнеющей комнате шепчу, жестикулирую и все безумнее надеюсь, что хоть одна моя мысль совпадает с его мыслью, — и тогда, я знаю, мост лопнет как струна. Но невезение, знакомое слишком упорным игрокам, преследует меня, карта все не выходит, хотя какую-то тайную связь я все-таки, должно быть, с ним наладил, ибо часов в одиннадцать, когда он ложится спать, я всем своим существом ощущаю провал, пустоту, печальное облегчение и слабость. Он засыпает, он засыпает, и так как на его арестантском ложе ни одна мысль не беспокоит его перед сном, то и я получаю отпуск, и только изредка, уже без всякой надежды на успех, стараюсь сложить его сны, комбинируя обрывки его прошлого с впечатлениями настоящего, но вероятно он снов не видит и я работаю зря, и никогда, никогда не раздастся среди ночи его царственный хрип, дабы история могла отметить: диктатор умер во сне.

## 15

Как мне избавиться от него? Я не могу больше. Все полно им, все, что я люблю, оплевано, все стало его подобием, его зеркалом, и в чертах уличных прохожих, в глазах моих бедных школьников все яснее и безнадежнее проступает его облик. Не только плакаты, которые я обязан давать им срисовывать, лишь толкуют линии его личности, но и простой белый куб, который даю в младших классах, мне кажется его портретом, — его лучшим портретом быть может. Кубический, страшный, как мне избыть тебя?

## 16

И вот я понял, что есть у меня способ! Было морозное неподвижное утро, с бледно-розовым небом и глыбами льда в пастях водосточных труб; стояла всюду гибельная тишина: через час город проснется — и как проснется! В тот день праздновалось его пятидесятилетие, и уже люди выползали на улицы, черные, как ноты, на фоне снега, чтобы

вовремя стянуться к пунктам, где из них образуют различные цеховые шествия. Рискаю потерять свой малый заработок, я не снаряжался в этот праздничный путь, — другое, поважнее, занимало меня. Стоя у окна, я слышал первые отдаленные фанфары, балаганный зазыв радио на перекрестке, и мне было спокойно от мысли, что я, я один, все это могу пресечь. Да, выход был найден: убийство тирана оказалось теперь таким простым и быстрым делом, что можно было совершить его, не выходя из комнаты. Оружием для этой цели были всего-навсего либо старый, но отлично сохранившийся револьвер, либо крюк над окном, должно быть служивший когда-то для поддержки штанги с портьерой. Второе было даже лучше, так как я не был уверен в действенности двадцать пять лет пролежавшего патрона.

Убивая себя, я убивал его, ибо он весь был во мне, упитанный силой моей ненависти. С ним заодно я убивал и созданный им мир, всю глупость, трусость, жестокость этого мира, который с ним разросся во мне, вытесняя до последнего солнечного пейзажа, до последнего детского воспоминания, все сокровища, собранные мною. Зная теперь свою власть, я наслаждался ею, неторопливо готовясь к покушению на себя, перебирая вещи, перечитывая эти мои записи... И вдруг невероятное напряжение чувств, одолевавшее меня, подверглось странной, как бы химической метаморфозе. За окном разгорался праздник, солнце обращало синие сугробы в искристый пух, над дальними крышами играл недавно изобретенный гением из народа фейерверк, красочно блистающий и при дневном свете. Народное ликование, алмазные черты правителя, вспыхивающие в небесах, нарядные цвета шествия, выщегося через снежный покров реки, прелестные картонажные символы благосостояния отчизны, колыхавшиеся над плечами разнообразно и красиво оформленные лозунги, простая, бодрящая музыка, оргия флагов, довольные лица парнюгов и национальные костюмы здоровенных девок, — все это на меня нахлынуло малиновой волною умиления, и я понял свой грех перед нашим великим, милостивым Господином. Не он ли удобрил наши поля, не его ли заботами обуты нищие, не ему ли мы обязаны каждой секундой нашего гражданского бытия? Слезы раскаяния, горячие, хорошие слезы, брызнули у меня из очей на подоконник, когда я подумал, что я, отвратившийся от доброты Хозяина, я, слепо отрицавший красоту им созданного строя, быта, дивных новых заборов под орех, собираюсь наложить на себя руки, — смею, таким образом, покушаться на жизнь одного из его подданных! Праздник, как я уже говорил, разгорался, и весь мокрый от слез и смеха я стоял у окна, слушая стихи нашего лучшего поэта, которые декламировал по радио чудный актерский голос, с баритональной игрой в каждой складочке:

Хорошо-с, — а помните, граждане,  
Как хирел наш край без отца?  
Так без хмеля сильнейшая жажда  
Не создаст ни пивца, ни певца.

Вообразите, ни реп нет,  
Ни баклажанов, ни брюкв...  
Так и песня, что днесь у нас крепнет,  
Задыхалась в луковках букв.

Шли мы тропиной исторенной,  
Горькие ели грибы,  
Пока ворота истории  
Не дрогнули от колотьбы!

Пока, белизною кительной  
Сияя верным сынам,  
С улыбкой своей удивительной  
Правитель не вышел к нам!

Да, сияя, да, грибы, да, удивительной, — правильно... я маленький, я, бедный слепец, ныне прозревший, падаю на колени и каюсь перед тобой. Казни меня — или нет, лучше помилуй, ибо казнь твоя милость, а милость — казнь, озаряющая мучительным, благостным светом все мое беззаконие. Ты наша гордость, наша слава, наше знамя! Великолепный, добрый наш исполин, пристально и любовно следящий за нами, клянусь отныне служить тебе, клянусь быть таким, как все прочие твои воспитанники, клянусь, что буду твой нераздельно, — и так далее, и так далее, и так далее.

## 17

Смех, собственно, и спас меня. Пройдя все ступени ненависти и отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно как на ладони смешное. Расхохотавшись, я исцелился, как тот анекдотический мужчина, у которого «лопнул в горле нарыв при виде уморительных трюков пуделя». Перечитывая свои записи, я вижу, что, стараясь изобразить его страшным, я лишь сделал его смешным, — и казнил его именно этим — старым испытанным способом. Как ни скромно я сам в оценке своего сумбурного произведения, что-то, однако, мне говорит, что написано оно пером недюжинным. Далекий от литературных затей, но зато полный слов, которые годами выковывались в моей яростной тишине, я взял искренностью и насыщенностью чувств там, где другой взял бы мастерством да вымыслом. Это есть заклятье, заговор, так что отныне заговорить рабство может каждый. Верю в чудо. Верю в то, что каким-то образом, мне неизвестным, эти записи дойдут до людей, не сегодня и не завтра, но в некое отдаленное время, когда у мира будет денек досуга, чтоб заняться раскопками, — накануне новых неприятностей, не менее забавных, чем нынешние. И вот, как знать... допускаю мысль, что мой случайный труд окажется бессмертным и будет сопутствовать векам, — то гонимый, то восхваляемый, часто опасный и всегда полезный. Я же, «тень без костей», буду рад, если плод моих забытых бессонниц послужит на долгие времена неким тайным средством против будущих тиранов, тигроидов, полоумных мучителей человека.

*Берлин, 1936 г.*